The background of the cover is a soft, painterly illustration of a forest. In the foreground, a white, cat-like creature with large green eyes and a small pink nose is peeking out from behind a cluster of green leaves. The creature has its hands on the branches. The forest behind it consists of various green trees and foliage, including ferns in the lower right. At the top of the page, there are more detailed illustrations of green leaves and reddish-brown catkins hanging from branches.

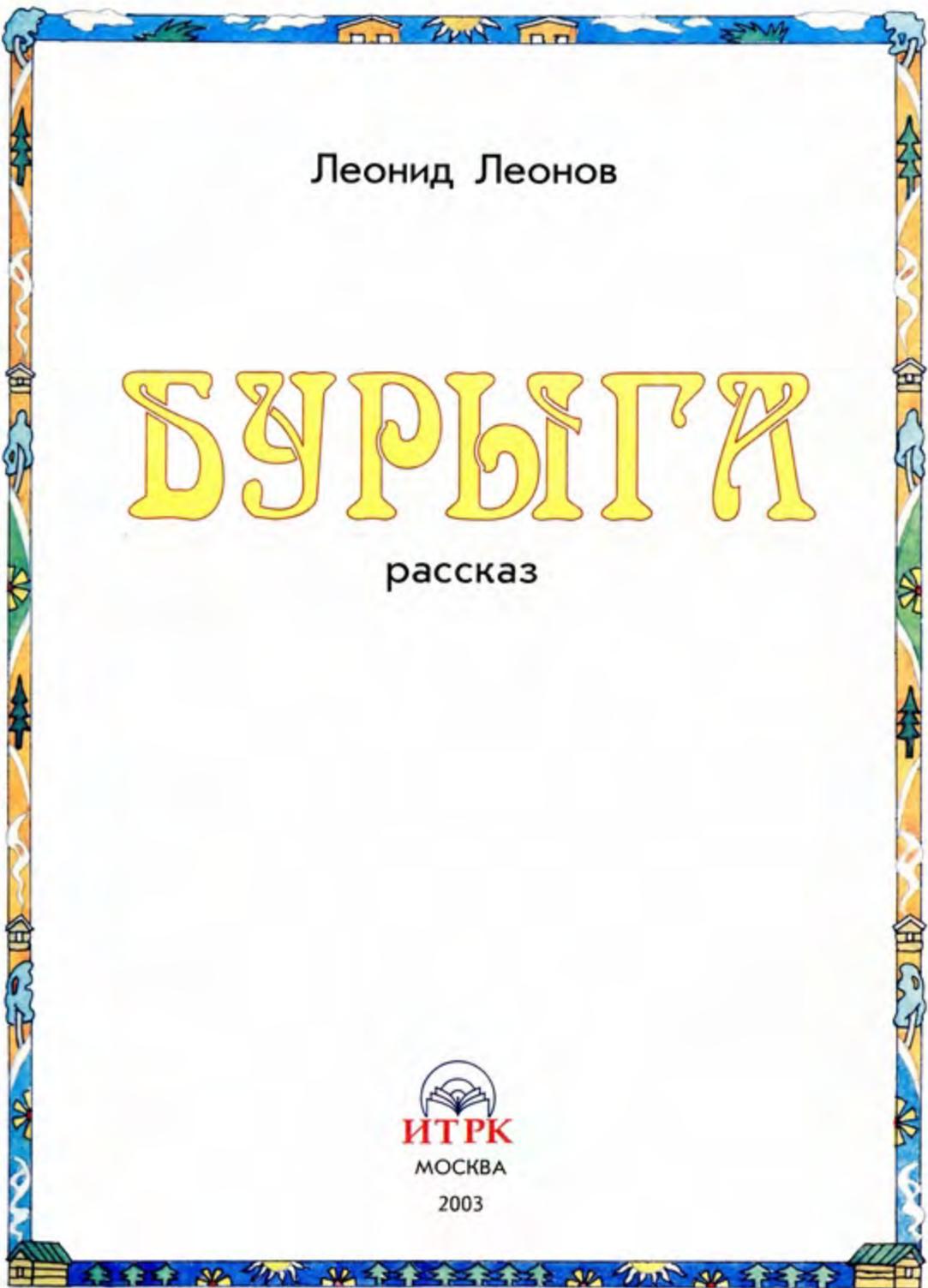
ЛЕОНИД ЛЕОНОВ

БУРЫГА









Леонид Леонов

БУРЫГА

рассказ



ИТРК

МОСКВА

2003

ББК 84=44

Л47

Художник
Марина Шаловеене

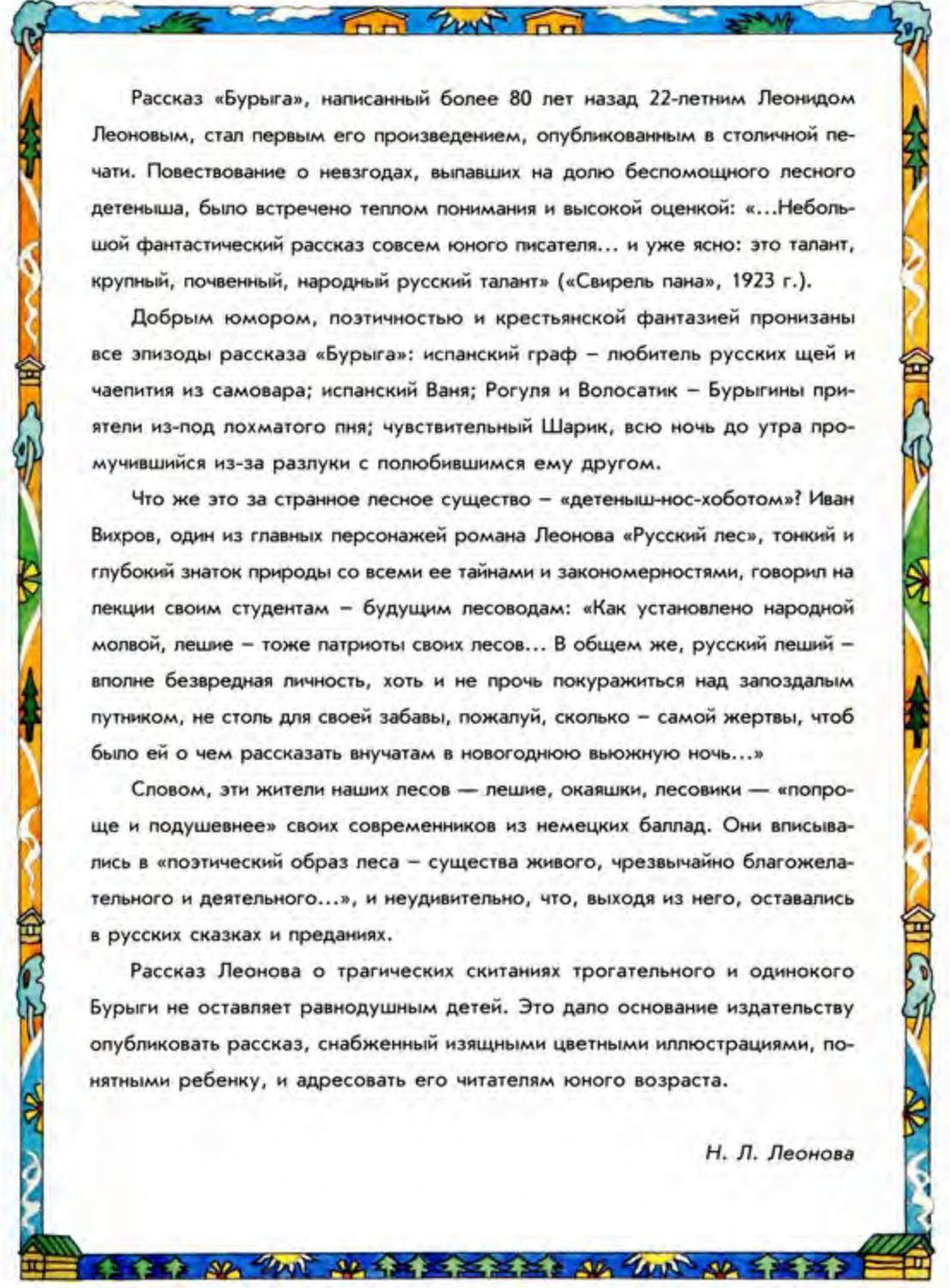
Текст печатается по изданию:

Л47 Леонов Л. М. Собрание сочинений: В 10 т. — М.: Худож.
лит., 1969. — Т. 1.

ISBN 5-88010-168-1

ББК 84=44

© Н. Л. Леонова,
Н. А. Макаров, 2003
© М. И. Шаловеене, 2003
© ИТРК, 2003



Рассказ «Бурыга», написанный более 80 лет назад 22-летним Леонидом Леоновым, стал первым его произведением, опубликованным в столичной печати. Повествование о невзгодах, выпавших на долю беспомощного лесного детеныша, было встречено теплом понимания и высокой оценкой: «...Небольшой фантастический рассказ совсем юного писателя... и уже ясно: это талант, крупный, почвенный, народный русский талант» («Свирель пана», 1923 г.).

Добрый юмором, поэтичностью и крестьянской фантазией пронизаны все эпизоды рассказа «Бурыга»: испанский граф – любитель русских щей и чаепития из самовара; испанский Ваня; Рогуля и Волосатик – Бурыгины приятели из-под лохматого пня; чувствительный Шарик, всю ночь до утра промучившийся из-за разлуки с полюбившимся ему другом.

Что же это за странное лесное существо – «детеныш-нос-хоботом»? Иван Вихров, один из главных персонажей романа Леонова «Русский лес», тонкий и глубокий знаток природы со всеми ее тайнами и закономерностями, говорил на лекции своим студентам – будущим лесоведам: «Как установлено народной молвой, лешие – тоже патриоты своих лесов... В общем же, русский леший – вполне безвредная личность, хоть и не прочь покуражиться над запоздалым путником, не столь для своей забавы, пожалуй, сколько – самой жертвы, чтоб было ей о чем рассказать внучатам в новогоднюю вьюжную ночь...»

Словом, эти жители наших лесов – лешие, окаяшки, лесовики – «попроще и подушевнее» своих современников из немецких баллад. Они вписывались в «поэтический образ леса – существа живого, чрезвычайно благожелательного и деятельного...», и неудивительно, что, выходя из него, оставались в русских сказках и преданиях.

Рассказ Леонова о трагических скитаниях трогательного и одинокого Бурыги не оставляет равнодушным детей. Это дало основание издательству опубликовать рассказ, снабженный изящными цветными иллюстрациями, понятными ребенку, и адресовать его читателям юного возраста.

Н. Л. Леонова





Испании испанский граф жил. И были у него два сына: Рудольф и Ваня. Рудольфу десять, а Ване еще меньше.

В средних еще годах профершпилил граф все свое состояние на одной комедиантке заезжей, а к старости остался у него лишь пиджак да дом старый, который даже и починить не на что было. Тогда же жена графова от огорченья и померла.

...Вот живет граф в нижнем этаже, там еще хоть мебель осталась, а в парадных залах, наверху, живому не житье: крыша протекает, зимой топить нечем, — там графовы дедушки на портретах помещаются, им-то все равно. Сам граф на почте главным служил, ребята его испанскую грамоту учили, кухарка суп варила; так и жили.

Да пришел к ним в одном студеном декабре случай непредвиденный: пошла ихняя кухарка на реку белье полоскать, нашла детеныша-нос-хоботом. Вышла она к реке, глядит и видит — сидит в сугробе этакой мохнатенький, замерзает, видимо. Из-под рубашонки копытца торчат, а нос предлинный, нечеловечий нос, — ручонками он его трет.

Жалостлива кухарка была, руками всплеснула, головой замотала:

— Экой ты! Ведь замерзнешь!..

А тот поглядел на нее исподлобья да басом на нее:

— Ну-к што ж... обойдется!

Разволновалась баба, схватила детеныша в охапку, запихала под белье, домой пустилась опрометью...

Всю дорогу детеныш из корзины трубел:

— Ни к чему все это, пустяки одни! Зря это ты, баба...



||

ринесла домой, отрезала ему хлебца с фунт, шубейкой накрыла, стала насупротив, удивляется:

— Откудова ты, экое дитятко? И на обезьяна и на дитенка похож...

Урчит детеныш с набитым ртом:

— Мы не тутошние!

А сам ухватился за краюху, жрет,— только хвостик из-под шубейки вздрагивает. Был у него хвостик так себе, висюлькой, а рожки конфетками.

Тут вышел на кухню сам испанский граф самовар поставить, увидел детеныша, отскочил даже сперва, а потом на кухарку наступать начал:

— Этта что такое?.. где такое диво выискала? Зачем он тут?

Стала кухарка сказывать:

— Как вышла я этто к реке, вижу,— сидит в снежке,
ножонки поджал, замерзывает...

Гмыкнул граф, поближе подошел:

— Н-да! И нос у него, действительно.



Задумался сперва, а потом взял детеныша за нос, дернул слегка.

Заворочался детеныш, взъерошился, буркнул прямо в упор графу:

— Дурак ты, паря, чего привязался?

Дал ему граф за такие слова затрещину, но потом погладил ласково, спросил:

— Так вон оно как, даже разговаривать можешь... Тебя зовут-то как?

Протянул деловито:

— Буры-ыга!

И как вымолвил это детеныш, обрадовался граф, захохотал, как из бочки, посуда на полках запрыгала, канарейка спросонья с жердочки свалилась, заслонка у печки грохнулась. И откуда глотка такая: сам никудышный, сквозь пиджак ребра видны. Хохотал-хохотал, да вдруг взгрюмился, боясь кухаркино уваженье потерять, показал бабе на Бурыгу, прикрикнул и настрого приказанье дал:

— Ты его мылом карболовым да с нафталинцем протри опосля мытья. Мы его в лакеи приспособим!

И ушел граф спать, про самовар забыл.

Весь вечер ел Бурыга кухарке в диковину, а Рудольф с Ваней весь вечер проспорили: настоящий это детеныш или так, только нарочно. И уж под самую ночь, когда все спали, а Бурыга лежа дожевывал четвертый фунт, притащили графовы ребята сигару детенышу, у отца стащили. Бурыга взял сигару, молча съел, причмокнул и сказал:

— Ну-к што ж, ничево! Приходите, когда не сплю,— расскажу кой-што там, бывалое...

Но тут замотал головой, втянул носом воздух, как насосом, и пронзительно чихнул. Ваня вздрогнул и выле-

тел из кухни стрелой, другой за ним. А Бурьга чихнул им вдогонку еще раз, зевнул и стал засыпать.

В кухне пахло щами, тараканами и карболкой. И уже спросонья мечталось Бурьге так:

«Э-эх, бруснички ба!..»



орошо жилось Бурьге в зеленом приволье леса. Там по утрам солнце ласково встает: оно не жжет затылка, не сует тебе клубка горячей шерсти в глотку, оно свое там, знакомое. Там затянет по утрам разноголосая птичья тварь на все лады развеселые херувимские стихеры, там побегут к болотному озерку неведомые, неслыханные лесные зверюги... Ранними утрами поет там лес песню, а над ним идут, идут, идут алые облака, клубятся, сталкиваются: то не ледоход небесный — то земные радости плывут.

Выходит из своего логова детеныш Бурьга,— он летом в норке мшистой живет. Он спросонья на пни натывается, зеленый, в зеленом крадется кустарнике, он похрамывает по кисельным зыбунам, шустро сигает через мертвые пни, кубарем катится, выюнцом идет... Вот он сядет на прогалинке, он хихикает и морщится, он сидит-прискакивает, греет спинку, сушит шерстку под солнышком, а солнышко теплой лапкой его гладит,— жмурится



и щурится, мурлыкает незатейную песенку, язык мухоморам кажет... А те нарядились, как к обеду, выстроились толстые и тонкие в ряд... Шесть их по счету, и весело им поэтому.

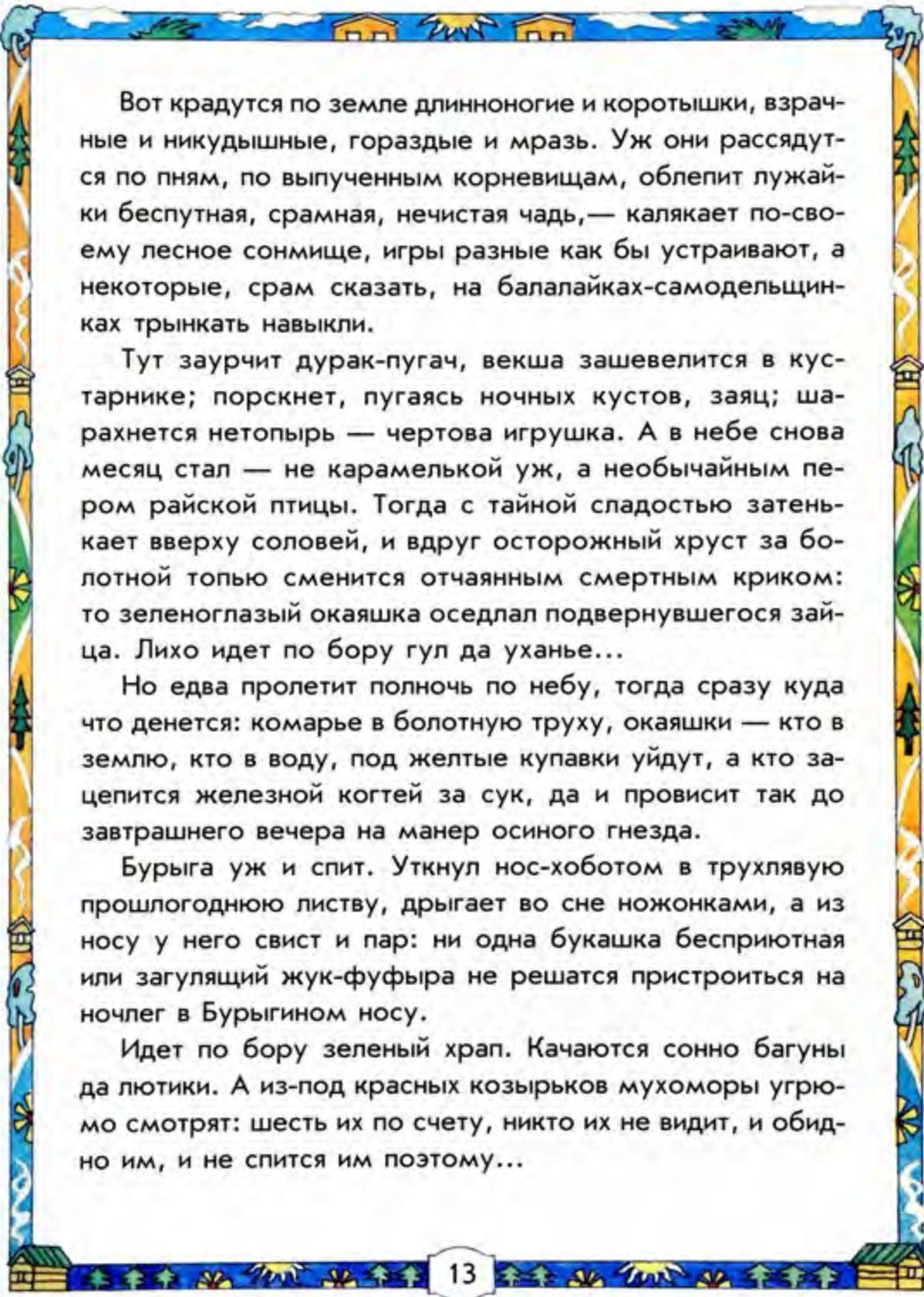
...А уж и вечер. Солнце спряталось, по небу обсосанная карамелька, луна, ползет. Тут и начало развеселой гулянке ночной.

Шагает Бурьга к старому лохматому пню, там живут его приятели и знакомцы — Волосатик и Рогуля. Волосатик, он и кругленький и мохнатенький, вроде как бы лешев внучек, гнилая осина мать ему, а Рогуля — полосатый, серое с зеленым, сухой да тонкий, как аршин, кривулинка на ножках. Он все больше насчет божественного любил: откуда свет пошел, кто лешему на́больший, почему вода мокрая... Волосатик же покуролесить страсть любил, похихикать. Бурьга — бруснику.



...Как оденет влажный падымок озерки, зазвонят жалобно комариные клубки,— повалятся с дерев, как желуди, вылезут из-под земли, выскочат из пней, вышмыгнут из ерника болотники да окаяшки разные, нечисть лесная.





Вот крадутся по земле длинноногие и коротышки, взранные и никудышные, гораздые и мразь. Уж они рассядутся по пням, по выпученным корневищам, облепит лужайки беспутная, срамная, нечистая чадь, — калякает по-своему лесное сонмище, игры разные как бы устраивают, а некоторые, срам сказать, на балалайках-самодельщиных тринкать навыкли.

Тут заурчит дурак-пугач, векша зашевелится в кустарнике; порскнет, пугаясь ночных кустов, заяц; шарахнется нетопырь — чертова игрушка. А в небе снова месяц стал — не карамелькой уж, а необычайным пером райской птицы. Тогда с тайной сладостью затенькает вверху соловей, и вдруг осторожный хруст за болотной топью сменится отчаянным смертным криком: то зеленоглазый окаяшка оседлал подвернувшегося зайца. Лихо идет по бору гул да уханье...

Но едва пролетит полночь по небу, тогда сразу куда что денется: комарье в болотную труху, окаяшки — кто в землю, кто в воду, под желтые купавки уйдут, а кто зацепится железной когтей за сук, да и провисит так до завтрашнего вечера на манер осиногo гнезда.

Бурыга уж и спит. Уткнул нос-хоботом в трухлявую прошлогоднюю листву, дрыгает во сне ножонками, а из носу у него свист и пар: ни одна букашка бесприютная или загуляющий жук-фуфыра не решатся пристроиться на ночлег в Бурыгином носу.

Идет по бору зеленый храп. Качаются сонно багуны да лютики. А из-под красных козырьков мухоморы угрюмо смотрят: шесть их по счету, никто их не видит, и обидно им, и не спится им поэтому...





IV

сенью развешивал вечер по небу мокрые тряпки, выжимал насухо, и из них шел на землю серый скучный дождь.

Давно уж на бору оталели бусы рябин, отшуршали краснолистые осины, — примета: лесной твари спать.

Рогуля лазил на зиму в самое болото, в зеленое нутро, в теплую тинку — туда мороз не дощупает: сидел там, размышляя всю зиму о таинствах естества божья. Волосатик у знакомого медведя в берлоге угол снимал, а Бурыга все бродил по лесу, ждал, не выползет ли солнышко. Солнышко не выползало, а вместо него карабкались по небу мокрые тучи.

Пробовал Бурыга шапку-непромокайку из старого воронья гнезда смастерить, да только вышло из этого огорченье одно: дожди шли сильные, а в том вороньем гнезде черноголовые мураши жили... Бродил по лесу.

А тут по лесу бродить нельзя: на Ерофеев день, на волчью свадьбу, уставлено нечисти пропадать. В ту пору ходит дед по бору с дубиной, а в самом скука, и сам весь всклокоченный. Ему попадись тогда под руку, он тебе либо хребет перешибет, либо доведет до смертной икоты.

А Бурыга вот ходил, хныкал, спрашивал заблудную ворону, не видать ли где солнышка; каркала ворона, а Бурыга воронья-то языка и не знал... Да если б и знал, не легче б было!

И уж когда пропадала совсем вера в нем, залезал в дупло незанятое и ворочался там без сна всю зиму. Точила его тоска, да и холод на бору не тетка!



V

ато весной, бывало, на бору-то не наглядеться! Развертывает по снегу алые ленты весна. Радуетя дерево солнцу, земля проталинкам, душа весне...

Да вот не дождалось раз весны такой озорное племя, пришло горе горькое. Однажды утром громко запели топоры, они хряснули весело сизыми ладонями, они пошли гулять-целовать: куда поцелуют — там смерть. А еще тем же утром жестокими зубьями заскрежетали пилы, загрызли громко, запели звонко, — не замолишь слезой их лютого пеня. Встал на бору железный стон.

Всполошились окаяшки, да уж тут что поделаешь! Зимой другого жилья не сыщешь, против железа не забунтуешь; смиришь, подставь глотку под синие зубья, молчи.

Выскочил Бурыга из своего дупла сохлым листом, шмыгнул в орешину — никто не видал, помчался в дедову берлогу.

— Дедь, а дедь... Там лес рубят, там топоры пришли...

Безволосыми ресницами заморгал старик:

— Какие такие топоры. Ничево, милачок. Вот я их ужо, вот я им покажу...

— Да што уж тут показывать... Идут, завтра здесь будут!

— Завтра, говоришь? Пущай, милачок! Вот я их ноне ночью и попужаю...



Успокоенно пробурчал Бурыга:

— Дедь, так я уж у тебя здесь ночку посижу, а?

— Сиди, милачок, сиди.

Пошел ночью дед лесорубов пугать: захохотал страшно, гугыкнул дважды, вдарил оземь прелым осиновым пнем, чтоб треску больше было, на четвереньках пробрался к порубям. Глянул из-за орешины — затрепетал весь: там затоптана сапогами лесорубов высокая лесная папороть, полыхают веселые костры, дремлют возле них усталые топоры, а ребята похлебку варят: на поверженных березах в кумачовых рубахах сидят, поют. И песня их, с дымом мешаясь, по земле стелется. Лежит любимая лешева береза по земле, лежит, как зеленая лесная хоругвь.

Постоял дед, поморгал глазами, понял, что уходить надо: парни — в плечах сажень, любой с удару сосну собьет. Побрел дед обратно, а завидел детеныша — проскулил ему жалобно:

— Беги, милачок, куда знаешь, а здесь ноня не житье нам боле, беги-и!

Поворчал Бурыга, и в ту же ночь разошлись они в разные стороны: пошел дед к своему племяннику — тот лешим в соседнем бору состоял. Была у него в котомке страшная святочная харя — про всякий случай, паспорт на имя какого-то Мокея Степанова, с подписями и приложением казенной печати — не подцарапаешься, а на самом армячок мужицкий.

А Бурыга бродил-бродил, вышел на деревню. Та деревня, Власьев Бор, невелика, да в ней люди добрые проживали.



VI

ила-была на деревне бабка-повитуха, люди Кутафьей звали. Про нее разное сказывали: она-де зла может принести; она-де девку присушит — кости из кожи, как пух из перины, вылезут; она-де ежели в ссоре с кем, так и килу может и хомутик подкинуть сумеет — станет не человек, а безногая кабацкая затычина. Только неправда все это: Кутафья — добрая бабка. У ней в красном углу Неопалимая висит, и всегда перед ней лампадка оправлена; у ней в красном углу и страстотерпец есть такой, что от тридцати трех болезней помогает, и пузырек с ерданской водицей, из Святой земли привезен.

К ней и забрел Бурыга по снежному первопутью: забрался в клеть, в комочек свернулся, сидит-повизгивает. А Кутафье и снадобилось, как на грех, туда по делам пойти. Вошла бабка и застыла — холодной водой по спине: сидит мохнатый, кто-бысь — не видно, визжит да словно бы топориче греет. Старуха к нему:

— Ты что это, супостат? Ты по каким таким делам по чужим клетям таскаешься? Эка, уж не обворовать ли меня, бабку, вздумал?!

Бурыга зубами стучит.

— Я,— говорит,— сдыхать к тебе, бабка, пришел.

Видит бабка — не вор, значит — добрый зверь.

— Да ты кто таков, чем занимаешься?

— Да вроде ничем! Оттудова мы, из лесу. Лесные...

Бабку недоумок взял:



— Ну, ладно. Холодно мне с тобою растабаривать, подь в избу, там столкуемся!

И впрямь столковались. Вымыла его бабка в бане, чтоб избу не поганил, дала ему мужа покойного валеные, картуз дала мужнин вроде рукомойника. Стал Бурьга у бабки жить, на полатах спать, стал Бурьга словно бы деревенский мужичок.

Кутафье занеможется — детеныш в зимнюю пору и за дровами на огород ходит, и воды принесет, и курочку у соседа скрадет для хворой бабки. А людям и невдомек спросить, что, мол, это у тебя за дитенок, Кутафья, объявился. Думали все — внучек порченный.



Бурыга на Власьевом Бору обжился, иной раз и на девичьи вечерки хаживал. Придет, встанет в угол от ребят порознь, глядит исподлобья; девки его за блажного считали, насмехались все: над блажным посмеяться — тебе не грех, а тому души спасенье. А одна девка, Ленка, — вот насмешница:

— Выходи, — смеялась, — за меня замуж, Бурыга... Ой, я тебя в жаркой баньке попарю, спать с собой положу, а любить-то я тебя как стану-у...



Ворчал Бурыга себе под нос, оглядывал Ленку с головы до пят, — Ленка крутобедрая, парни зубами лязгают, — трубел хмуро:

— Врешь ты все! Не будешь ты меня любить, не за што...

А Ленка пуще изгилялась, в самые глаза Бурыгины заглядывала:

— Да я уж и ума не приложу, как тебя замуж-то взять... Уж больно целоваться-то с тобой неспособно, ты мне своим носищем все глаза повиколешь!

Сопел.



VII

а вот что потом случилось.

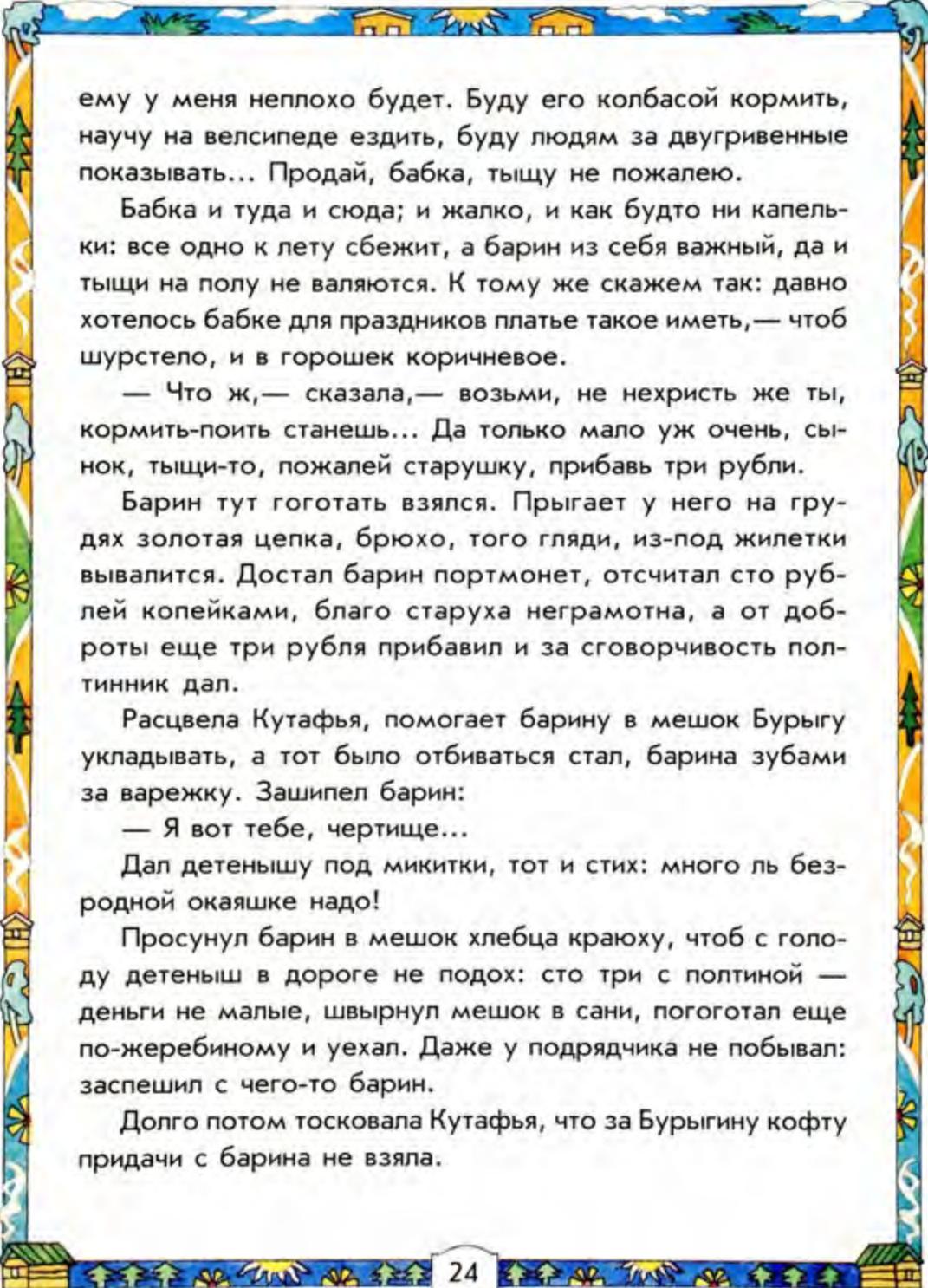
Приехал на масленой в деревню Власьев Бор барин-брюки-на-улицу, при часах и штиблетах, в руке заграничная палка, толстый, из города. Приехал-то он по делам: к Семену Гирину лес торговать, а Бурыга, как на грех, по воду о ту пору и шел. Увидел его барин, смекнул в башке, помчался в Кутафьину избу, пристал к бабке как банный лист. Уговаривает бабку, в лицо ей винищем так и разит:

— Он что, внучек тебе, што ли?

— Внучек, батюшка, внучек.

— Врешь, бабка, — энтот экземпляр не человечесий...

Ты мне продай, бабка, детеныша! Человек я хороший,



ему у меня неплохо будет. Буду его колбасой кормить, научу на велосипеде ездить, буду людям за двугривенные показывать... Продай, бабка, тыщу не пожалею.

Бабка и туда и сюда; и жалко, и как будто ни капельки: все одно к лету сбежит, а барин из себя важный, да и тыщи на полу не валяются. К тому же скажем так: давно хотелось бабке для праздников платье такое иметь, — чтоб шурстело, и в горошек коричневое.

— Что ж, — сказала, — возьми, не нехристь же ты, кормить-поить станешь... Да только мало уж очень, сынок, тыщи-то, пожалей старушку, прибавь три рубли.

Барин тут гоготать взялся. Прыгает у него на грудях золотая цепка, брюхо, того гляди, из-под жилетки вывалится. Достал барин портмоне, отсчитал сто рублей копейками, благо старуха неграмотна, а от доброты еще три рубля прибавил и за сговорчивость полтинник дал.

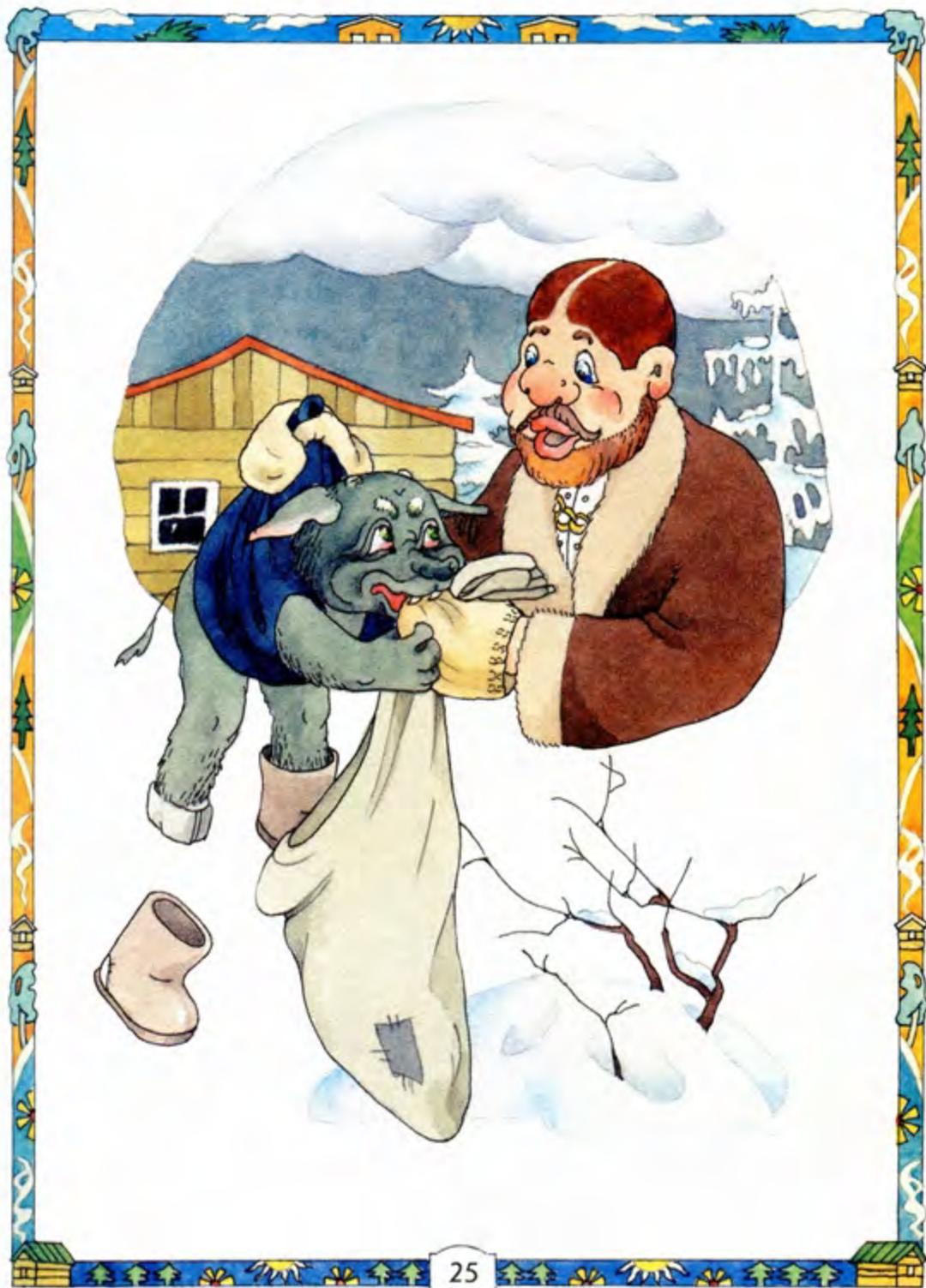
Расцвела Кутафья, помогает барину в мешок Бурьгу укладывать, а тот было отбиваться стал, барина зубами за варешку. Зашипел барин:

— Я вот тебе, чертище...

Дал детенышу под микитки, тот и стих: много ль безродной окаяшке надо!

Просунул барин в мешок хлебца краюху, чтоб с голоду детеныш в дороге не подох: сто три с полтиной — деньги не малые, швырнул мешок в сани, погоготал еще по-жеребиному и уехал. Даже у подрядчика не побывал: заспешил с чего-то барин.

Долго потом тосковала Кутафья, что за Бурьгину кофту придачи с барина не взяла.





VIII

а станции переложил барин Бурыгу из мешка в чемодан, еще хлебца дал, ключом защелкнул, залез в вагоне на верхнюю полку спать.

Всю дорогу зверем храпел. Поспит, проснется, просунет руку в чемодан, дернет Бурыгу за нос сонного, а то и ногтищем в нос прищелкнет, для собственного удовольствия, и конфетку даст.

Было в чемодане душно, но было и еще кой-что: прямо в живот Бурыге уперся железной своей головой граженный флакон и как будто насквозь Бурыгу хотел проткнуть. Но детеныш надувал живот, и флакон нехотя отодвигался в сторону. Тогда свирепела щетка, бывшая у Бурыги в головах, и всеми своими тонкими иглами, как шильями, впивалась в Бурыгину шею. Бурыга огрызался как мог, плакал тихонько и закусывал корочкой.

...Барин из пролетки вылез возле большой деревянной коробки с облупленной вывеской и строго глянул на извозчика. Тот виновато поморгал рыжими глазами, стыдливо почесал кнутовищем лошаденкину спину и вдруг лихо выбросил:

— Двугривенничек!

Барин молча протянул ему фальшивый четвертак и важно прошел в подъезд. Человек, сидевший за конторкой, дважды сложился ножиком и благоговейно застыл. Барин грохнул чемодан на прилавок — флакон и щетки сразу напали на детеныша! — и проговорил с достоинством:

— Гривен за восемь...

Ножик зашипел, подсовывая грязную большую книгу:
— Распишитесь... фамилию-с!
Барин расчеркнулся: Гейнрих Бутерброт... и, уже уходя, бросил к вящему ножикову недоумению:
— Пришлите самовар и таз!



Войдя в свой номер, он неторопливо распаковал детеныша, налил из самовара в таз кипятку, вкось пощурился на сжавшегося в углу Бурьгу и сказал хмуро:

— Мыла-то вот и нет у меня... Ну, да ничего, я тебя, тварь, и щеткой славно обработаю!

У Бурьги при тех словах шерсть шишом встала. Но барин, не теряя времени, сунул его в кипяток и принялся тереть головной щеткой.

Щетка восторженно заходила по Бурьгину телу, неожиданно прыгала с детенышевой ноги прямо на шею и там оставляла свирепый след. Потекло с Бурьги родное, зеленое, а барин отдувался, скоблил разными острыми предметами Бурьгины копытца, сопел сильно, утешая изредка:

— Ничего, чертище, потерпи... на человека зато похож будешь!

Уж он рассердиться собирался, лесной детеныш, но тут кончил Бутерброт, снял простыню с кровати, вытер истово Бурьгу насухо. Слиплась мокрая шерстка на детеныше, согнулись зябко коленки, хвостик понуро повис. Оставил его барин, за котлеты принялся, ел их, широко открывая беззубую пасть, — зубов у него было всего четыре, и то спереди только, для видимости. Бурьге же снова хлебца дал.

Вечером барин Гейнрих Бутерброт sprыснул Бурьгу одеколоном, запер в чемодан и повез в цирк. А Кутафьину кофту ножичку отдал:

— Старьевщику продадите — можете себе взять. В наши, — говорит, — дни и гривенник деньги!

В



IX

от дела-то: Бурыга — человеком стал. Его портрет на бумагу пропечатан, и сам он уж в сюртуке ходит, волосы бобриком стрижет. Но серыми мутными утрами, когда зашевелится в бесьем сердце лесная тоска, ворует он рюмками у Бутерброда коньяк.



А Бутерброт разбогател: себе в пасть золотые зубы вставил, а мог бы и брильянтовые, да отсоветовал один там: не практично, говорит. Купил машину самоезжую и парня в шубе к ней, купил шляпу ведром. Разбогател Бутерброт, собирая двугривенные за Бурыгин позор...

Беда Бурыге! По утрам вертел его барин так и смяк, пока у детеныша зеленый пот не проступал, а вечером Бурыга сам уже привычно лез в чемодан и защелкивался изнутри ключиком.

...В цирке сам Борис Исакыч Меер выводил Бурыгу вместе с рыжим клоуном Осипом Ивановичем на арену: там ждал их подсобный малый с лицом истязателя. Он ловко швырял Бурыгу с подкидной доски вверх на трапецию, а Осипу Ивановичу одновременно совал в нос щепотку белого порошка, от которого плохо видели глаза и страшно чесалось в носу. Бурыга кривлялся там, наверху, а Осип Иванович ходил, припрыгивая, по арене и мучительно чихал под оглушительные аплодисменты публики.

Бросали иногда Бурыге конфеты и яблоки,— их тотчас же за кулисами съедал Бутерброт, а однажды какой-то жизнерадостный мальчуган швырнул Бурыге апельсин и попал ему в нос. Бурыга и на это проговорил хрипловатое, увесистое «мерси», а ночью поплакал от обиды.

Вскорости Бурыге совсем конец пришел. Цирковый мучитель был выпимши и не сумел дошвырнуть Бурыгу до трапеции. Детеныш лепешкой ударился об песок, и его на руках унес за кулисы Осип Иванович под безудержный хохот весельчаков.

Когда нес его клоун,— Бурыге было очень больно везде,— они глядели друг другу в глаза. На них в свете ярких ламп смотрели тысячи зорких глаз, и никто не заметил

ничего; их слушали тысячи длинных ушей, и никто не услышал ни слова из того, что говорили эти двое скоморохов друг другу. А они говорили вот что:

— Я тебя ужасно полюбил, Бурыга...

— И я тебя тоже, Осип Иваныч... очень! За то, что уж больно ты на нашего брата, лесного, похож.

Сломаться в Бурыге было нечему: костей в проклятиках не бывает, но Бурыга наутро не встал. Барин Гейнрих Бутерброт был в отчаянии, барин Гейнрих Бутерброт рвал себе волосы на висках, — на других местах не рос у него волос... Барин Гейнрих Бутерброт хотел с горя в запой удариться, но тут подошло ему избавление.





Х

аехала совсем случайно в тот самый городишко одна испанская купчиха. Муж-то ее еще год назад выиграл на билет двести тысяч и помер от радости, а купчиха поставила на мужа памятник, стала жить да поживать, деньги проживать, кататься в полное свое развлечение по белу свету. Везде побывала баба, все главнейшие вавилоны объездила.

Давно уж она сердцем беспричинно тосковала, а как увидела Бурыгу, детеныша-нос-хоботом, так и вострепела вся. Ворвалась к Бутерброту через неделю после Бурыгина падения, с ножом к горлу пристала,— так ей захотелось Бурыгу себе заладить:

— Продай ты мне, купец, детеныша... Возьми сколь душе твоей угодно, а доставь мне такое полное удовольствие!

Бутерброт заломался сперва:

— Помилте-с,— возразил,— он мне, можно сказать, как сын: в одной кровати, можно сказать, спим... из одной тарелки кушаем!

На дыбы взвилась купчиха:

— Ах, нет, нет! Уважь ты меня, господин!.. Я его наукам обучу, человеком в свет выпущу, доброе дело сделаю за мужнин упокой!

Бутерброт рожу скривил: в душе-то он и сам был не прочь от детеныша избавиться,— хлопот больно много стало с ним: то ученые приезжают, мерку с Бурыгиной головы снимают, через телескоп на него глядят, то газет-

чки оравой наедут, пристанут с расспросами: «А может ли он по-французски разговаривать, а может ли гвозди есть...» — страх!

Чавкнул вставными зубами Бутерброт:

— Мильон... — Да испугался, что купчиха так уедет. — А с вас только пять тыщ возьму... Извольте адресок и задаточек, — упакую-с и пришлю-с.

Купчиха ему все деньги сразу выложила.

— Твой, — говорит, — товар, мои деньги: получай за наличный расчет.

Рассовал барин бумажки по карманам, надел шляпу ведром, поехал деньги пропивать.

И Бурьга уж у купчихи выздоровел.



XI

е все же по границам шататься, пора и домой: отправилась купчиха в Испанию. Тут множество она неприятностей вынесла: у Бурьги паспорта своего не было, а за сына родного его принимать непригоже купчихе, — засмеют земляки. Пришлось за Бурьгу заплатить дорогую пошлину, как за продукт иностранного производства.

Ехал детеныш в теплом ящике, закутанный в одеяло, которое купчиха взяла на память при отъезде из гостиницы, по испанскому обычаю.

Ехали-ехали — и приехали.

Дома у купчихи стал детеныш Бурьга третьим: первой была купчихина комнатная моська Аннет, с человеческими глазами, вторым попугай Зосима, которого покойный купец в свободное время обучил ругаться неприличными словами. Бурьга же третьим стал.



Кормили у купчихи плохо: утрами к зеленой бархатной подушке, где выздоравливал Бурьга, приносила горничная крохотную чашечку кофию и просвирку за упокой купчихина мужа. Бурьга съедал это немедленно и немедленно же принимался за поиски съестного в купчихином доме: крал пищу у попугая Зосимы, выпивал масло из лампадок — у купчихи их до сотни висело, жевал купчихины валенки под диваном, а однажды стащил втихомолку с кухни три с половиною фунта ядрового мыла. Окаяшке все на подхвате давай сюда. Бурьга все ел, и все ему было мало.

Но как только он насыщался, тут и начинались его смертные муки: выходила купчиха обучать его разным наукам — арифметике, географии, закону божью и всякому глубокомыслию, от которого тоскливо коробилась кожа на лбу и уныло морщилась бесья душа.

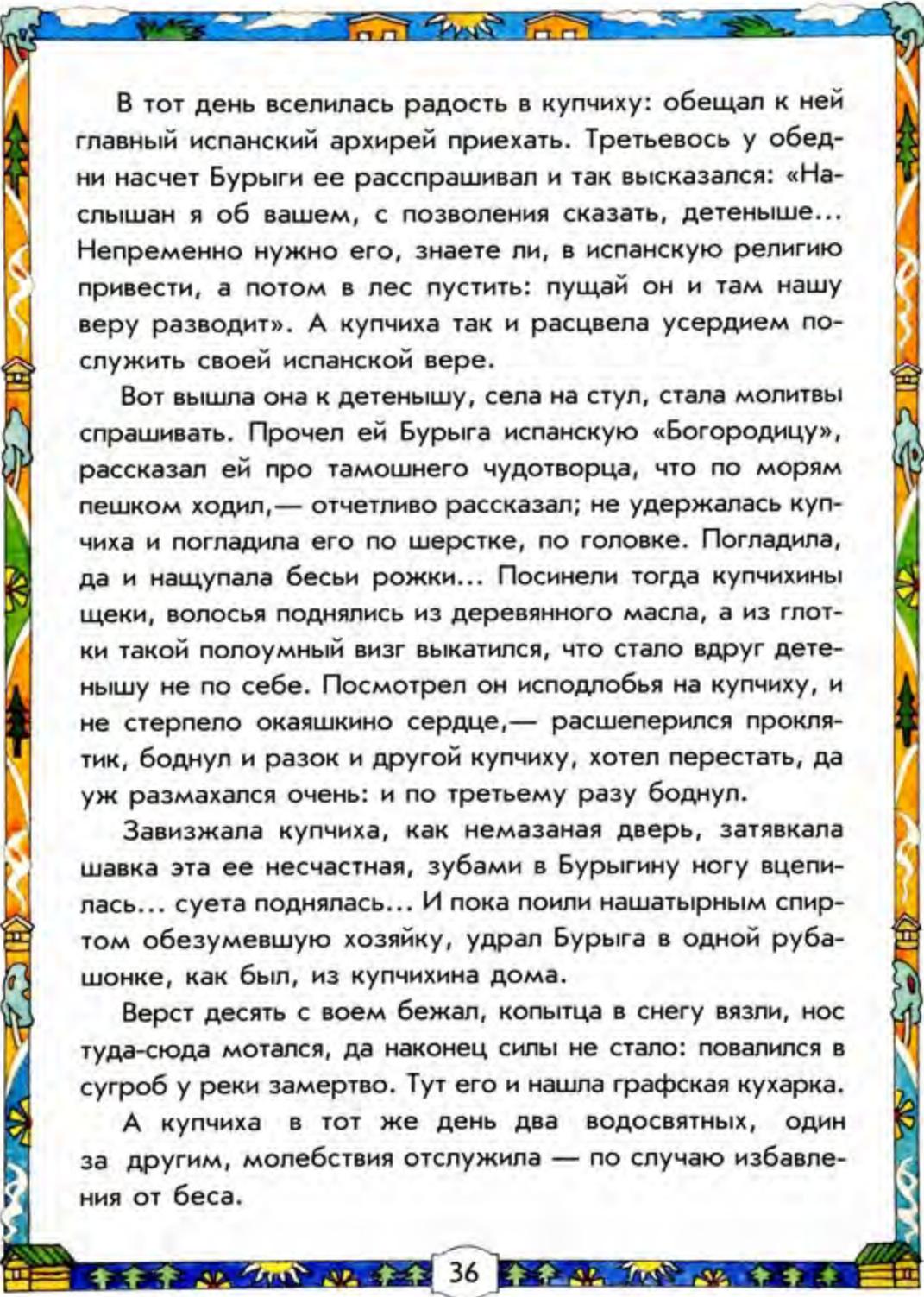
И думал тогда Бурьга:

«Куда уж Рогуля премудрость любил, а и то сбежал бы... Ей, сбежал бы!»



XII

яркий день на зимнего Николу — в Испании и по воскресеньям мороз щиплет! — вышла купчиха на урок в розовом капоте. Волосья у ней на голове, смирившись под деревянным маслом, дорожками пролегли, а на затылке были так туго заверчены, что вот-вот масло с них закаплет.



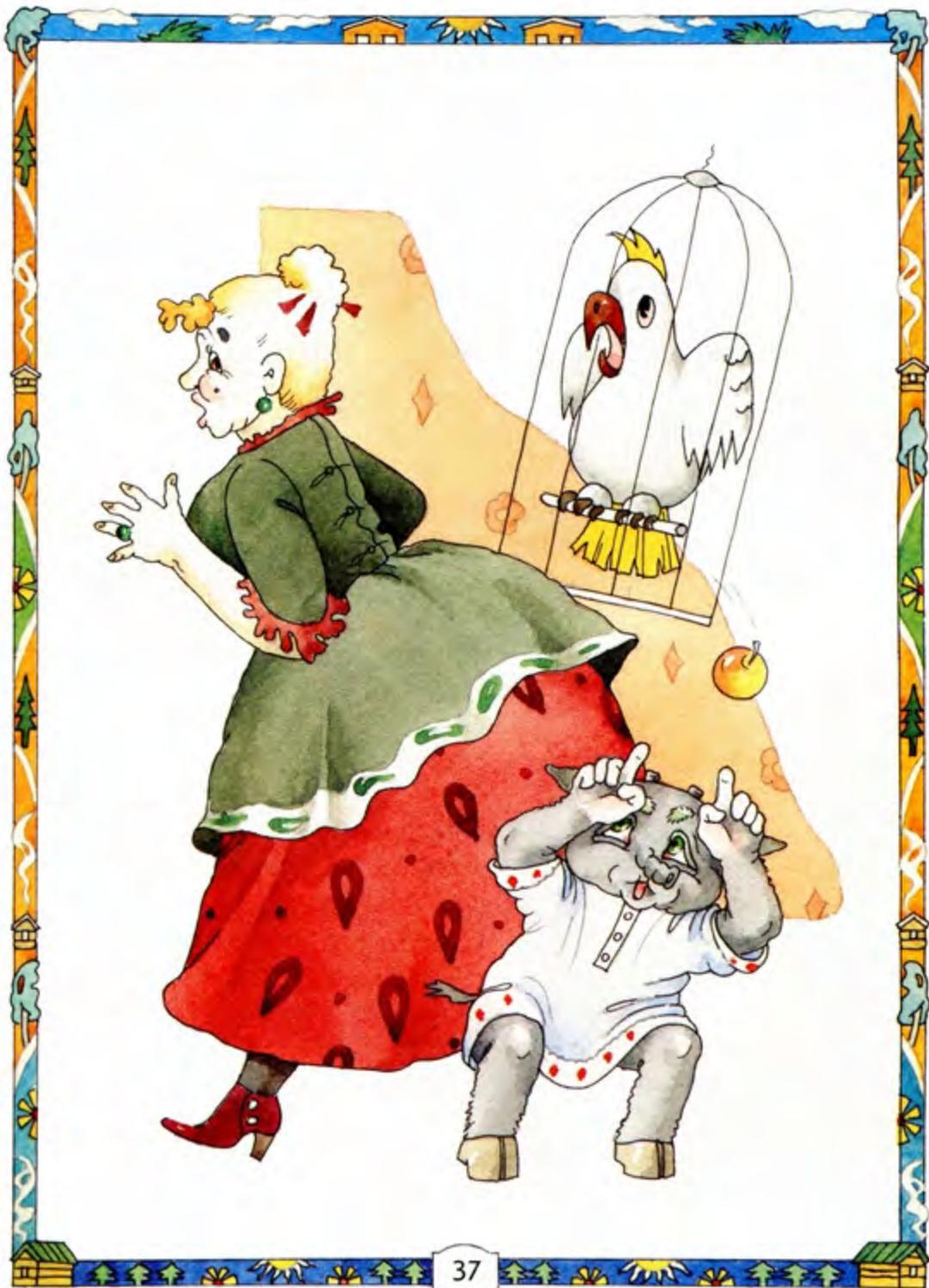
В тот день вселилась радость в купчиху: обещал к ней главный испанский архирей приехать. Третьевось у обедни насчет Бурыги ее расспрашивал и так высказался: «Наслышан я об вашем, с позволения сказать, детеныше... Непременно нужно его, знаете ли, в испанскую религию привести, а потом в лес пустить: пущай он и там нашу веру разводит». А купчиха так и расцвела усердием послужить своей испанской вере.

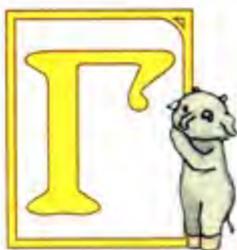
Вот вышла она к детенышу, села на стул, стала молитвы спрашивать. Прочел ей Бурыга испанскую «богородицу», рассказал ей про тамошнего чудотворца, что по морям пешком ходил, — отчетливо рассказал; не удержалась купчиха и погладила его по шерстке, по головке. Погладила, да и нащупала бесьи рожки... Посинели тогда купчихины щеки, волосья поднялись из деревянного масла, а из глотки такой полоумный визг выкатился, что стало вдруг детенышу не по себе. Посмотрел он исподлобья на купчиху, и не стерпело окаяшкино сердце, — расшеперился проклятик, боднул и разок и другой купчиху, хотел перестать, да уж размахался очень: и по третьему разу боднул.

Завизжала купчиха, как немазаная дверь, затыкала шавка эта ее несчастная, зубами в Бурыгину ногу вцепилась... суета поднялась... И пока поили нашатырным спиртом обезумевшую хозяйку, удрал Бурыга в одной рубашонке, как был, из купчихина дома.

Верст десять с воем бежал, копытца в снегу вязли, нос туда-сюда мотался, да наконец силы не стало: повалился в сугроб у реки замертво. Тут его и нашла графская кухарка.

А купчиха в тот же день два водосвятных, один за другим, молебствия отслужила — по случаю избавления от беса.





XIII

отовился граф к именинам. Неизвестно, когда его свят-ангел по испанским святцам, а только Бурьга заранее по суматохе догадался.

За неделю стал граф к празднику готовиться: пирог испекли в сажень, колбасы корзину целую купили; сам граф, рукава засучив, яблоки рубил, наливки на разных травах настаивал.

К тому времени не столько во избежание простуды, а забавы ради сшили Бурьге мундирчик с эполетами из валявшейся на чердаке попонки, — совсем шутяка гороховой масти стал. Вот наступил торжественный день. Пришел графов дядя, лысый старикан под названием Иван Сергеич, прикатил испанский архирей со свитой, прибыла та испанская купчиха, соседка графова; притащилась одна глухая барыня и невест с собой привела: две дочери как бочки, а третья сухая черная загогулинка в кисейном платье... И другой мошкары уйма налетела.

И пошло среди них веселие отчаянное: развалились гости на диванах, пьют наливки, колбасой закусывают, лимоны чисто репу жрут. Сам граф вприсядку поперек квартиры ходит, лимонад и наливки бутылками гостям раздает, бывшие времена раздольные вспоминает.

— Пейте, — говорит, — пейте, пожалуйста. Упивайтесь заместо вина, для здоровья! А я вам тем временем сюрприз подготовлю!..

Собирался граф одним секретцем своих гостей подивить, показать им напоследях детеныша-нос-хоботом. А как

подошло то время,— гости песни орут, архирей шатуном
меж столами бродит,— снарядил граф Бурыгу подносом,
на поднос бутылок наставил, выпустил его через дверь на
середину. Трется нос о поднос, идет Бурыга.



И вышел он посередь, да как завидел купчиху — грохнулся поднос о пол,— на полу винное море, по нему стеклянные острова пущены.

Купчиха-то и не разобрала спросонья, с чего грохот пошел, на голову она слаба была, а граф рассвирепел: вытащил Бурыгу за дверь, там ему потасовку смертную дал и в заключение ногой пристукнул.

С этого Бурыге болезнь пристала.



XIV

ежит на кухне под кроватью, половиком накрыт, детеныш-нос-хоботом: лежит — сопит, в нутре искры шипят, в голове смолу варят, из ног нитки тянут: граф ему главную жилу надорвал. Дает кухарка Бурыге огуречный рассол пить, да ведь только рассол против отбития и перешибу не помогает.

Лежит Бурыга, и идет от него по кухне тяжелый дух. Скучно ему так лежать, нет-нет да и выползет на середину, на солнышко... Тут и быть беде: вошел граф неслышно на кухню,— у него к ногам резина приделана,— вошел и увидел Бурыгу.

Зашипел испанский граф, зубами так и хрустнул,— глазом вертит, руками машет — стал кухарке так приказывать:

— Выкинь его за ворота, там его подберут... Или нет, ты его лучше завтра утром соседу в колодец брось! — У графа с соседом давние нелады были.

Накричал, вышел и дверью шибанул.

Заплакала было кухарка, но снизошло на нее тут просветление: снесла кухарка Бурыгу в конуру к Шарикю. Графского распоряжения послушаться не смогла баба из боязни потерять место.



Шарик же был пес сторожевой, бывалый зверь, усы у него седые. Шарик — кухаркин первейший друг, к нему и поселили Бурыгу.

И подружился детеныш с Шариком, делились они костями и спали вместе, как родные.

Тогда зима еще не кончилась.



XV

аз — в Испании февраль свежи случаются! — одна ночь холодна была. Спали весь день два лохматых в собачьей конуре, друг дружку грели, — ночью на двор вылезли.

Луна в небе, звезды к краям ползут, — ночь глубокая. Посидели дружки на синем снегу, на луну повыли в голос, а потом домой вернулись, залегли, укрывшись старым лоскутом, — кухарке доброе здоровье.

Вздыхнул Бурыга, стал Шарик у свои странствия рассказывать:

— Происходим мы из лесу, откуда сюда солнце приходит. Кроме меня, еще Волосатик там жил, а с нами еще один — Рогуля... И жил в том бору один старец справедливый, Сергей, — он бога славил и всю земную тварь любил. Раз в зиму одну... а у нас зимы лютые: там утром примерзнет солнце к самому краю земли и встать не может, темь весь день! — раз в ту зиму, — некуда нам деваться, теплин ни одной не было, — мы и залезли к

старцу в трубу печную,— там и проживали. Знал это старец и молчал и оставлял иногда нам, как бы случайно, на шестке то хлебца корочку, то щец в плошке, а мы и сыты...

Да вот пришла Волосатику пустая блажь — старичку тому табачку нюхательного подсыпать. Посмеяться и мы были не прочь... А старец, надо сказать, строг был: блоху жалел, себя же еженощно терзал по-разному.



Откудова достал, не знаю — и посыпал Волосатик табачком старцеву просфору... Затихли мы в трубе, ждем. А Волосатик мне хвостом ноздри щекочет, смех меня разрывает...

Тут мы слышим вдруг чихание и гневный клич: «Ты, говорит, Волосатик, сгоришь золотым цветом на Иванов день. Тебя, говорит, Рогуля, зашибет дед на Ерофея до смерти. А ты,— это мне-то он говорит,— Бурыга, с перешибу от поганой руки будешь в чужой земле сдыхать, — не сдохнешь, но завоняешь...»

Вот как вышло. Нету теперь моих приятелей... один я, да ты у меня.

Завздыхал Шарик, душа в нем не по-людскому отзывчивая. Думает Шарик свои думы, Бурыга свои... Тепло в конуре, шерсти много.

А за конурой идет бледная луна, остановилась синяя ночь, звезды по небу, повить охота!..



XVI

аз как-то в начале марта случилась такая же пронзительная ночь.

Лежал-лежал детеныш да повернулся к Шарик, взглянул на друга — и как взглянул, так в самом дух и замер:

— Шарик, а Шарик...

— Ну, чево тебе?

А Бурыга замолчал. Потом опять:

- Шарик...
- Да чего тебе, право, не лежится?
- Я, Шарик, домой собрался... туда!
- У Шарика под сердце подкатило:
- Зачем тебе туда?
- Не то у вас тут, у нас лучше... Тебе, Шарик, не понять. Я туда пешком пойду.

Опять оба замолчали.

...В небе синяя ладья. В ладье той плывут неведомые сны, по земле цветут синие снежные цветы,— кто Хороший посеял вас?



Только здесь Шарик с ответом собрался:

— Ну что ж, валяй... оно ведь как, у каждого свое влечение сердца!

И спиной повернулся к Бурыге. Потому и повернулся, что не хотел показывать свои собачьи слезы.

Бурыга спросил обеспокоенно:

— Ты с чего это, Шарик?

Проскулил Шарик грубо:

— Так это, пустяки у меня... видать, от старости.

В эту ночь они в последний раз на луну сообщая повыли. Больше лун не было,— крались исподтишка по небу сырые низкие тучи, караулили весеннее солнце.

И однажды собрался.

Март на исходе,— у Бурыги в тряпку кости завернуты, хлеба кус там же, на самом кофта ватная старая — кухаркин подарок. Добро вам, три добрые!

Постояла кухарка на крыльце, поглядела на окаяшку, прошептала жалостливо, как молитву:

— Ну, ступай!.. замерзла я тут с вами. Да смотри под машину не попади! Эка нескладный зародился...

И ушла.

Подсел Бурыга к Шарик, лизнул его тот в нос-хоботом и опять спиной повернулся: собачьи глаза слез не держат.

Вышел Бурыга за калитку.

И опять в небе ночь была. Она шептала молитвенно вниз:

— Ступай, Бурыга, ступай... Я тебя, где нужно, в тьму закутаю, где нужно — на крыльях пронесу,— ступай.

...В ту ночь до утра выл Шарик на дворе. В одиночку выл, вытянув в небо круглую свою глупую волосатую

морду... И выл и выл, не давал графу спать, не давал
тишине землю сном укутать...

Понятно: собачья тоска — не фунт изюму!

Так дед Егор из Старого Ликеева рассказывал.

1922



Литературно-художественное издание

Леонид Максимович Леонов

Бурыга

рассказ

Художник *М. И. Шаловеене*

Редактор *М. В. Ивершина*

Корректор *Н. Н. Жильцова*

Компьютерная верстка, изготовление оригинал-макета *В. Ю. Ахалкин*

ЛР № 05976 от 03. 10. 2001.

Подписано в печать 17. 01. 2003.

Формат 60X90/8. Бумага офсетная. Гарнитура «Журнально-рубленая».

Печать офсетная. Усл. печ. л. 6,0. Уч.-изд. л. 3,48. Тираж 10000 экз.

Заказ № 6134.

ИТРК

123557, г. Москва, Б. Тишинский пер, д. 38.

Тел./факс: 205-36-96

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленных диапозитивов
на ОАО «Тверской полиграфический комбинат».
170024, г. Тверь, пр-т Ленина, 5.

▲

